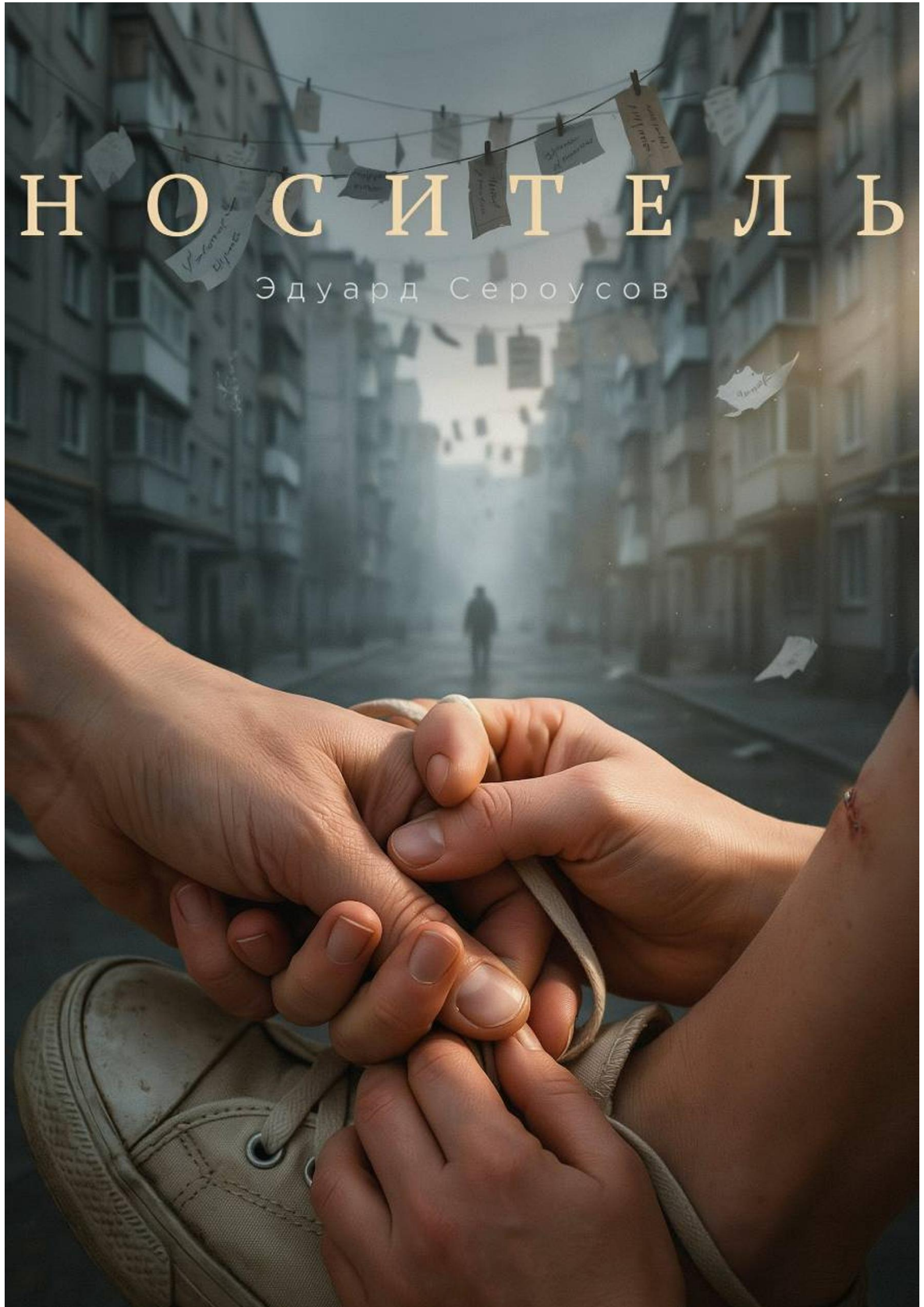




НОСИТЕЛЬ

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

НОСИТЕЛЬ

«Автор»

2026

Сероусов Э.

НОСИТЕЛЬ / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Двести миллионов человек живут с нейроимплантом Nexus Cortex — «мостом», который восемь лет помнит, водит руку хирурга и хранит их доступ к самим себе. Утром компания-производитель объявляется банкротом. Криптоключи истекают через тридцать дней. Мара, нейрохирург с ранней «серией А», быстро понимает: её тропы к памяти зарастут первыми — за двенадцать дней. Пока весь мир бормочет себе имена на бирках и стенах, Мара выбирает не спасать себя, а переложить самое важное в шестилетнего сына Лео, живого носителя, — своё имя и одно давнее обещание про шнурки.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Рукопожатие	5
Часть вторая. Момент тишины	9
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

НОСИТЕЛЬ

Часть первая. Рукопожатие

Узел не держался.

Лео сидел на полу в прихожей, согнувшись так, что почти утыкался лбом в кроссовок, и в четвёртый раз сводил шнурки крест-накрест. Петля набухла и оседала, вялая, будто решила больше не держать форму.

— Смотри, — сказал он. — Я почти.

— Смотрю. — Мара стояла у двери, одна рука в рукаве пальто. Часы на запястье согрели кожу коротким импульсом. Восемь ноль три. Резать в девять. Дорога — сорок минут, если повезёт, а сегодня не повезёт. — Одна петля. Потом вторая вокруг неё.

— Я так и делаю.

— Ты делаешь одну.

Он поднял голову. В шесть лет обида ещё честная — всё лицо сразу, без остатка.

— Покажи. Руками покажи.

Три секунды. Она их отмерила, как отмеряла всё: столько нужно, чтобы опуститься на корточки, взять его пальцы в свои, провести петлю. Тридцать секунд — если объяснять. Минута — если он попробует сам под её ладонями. У неё на столе в девять лежал человек с аневризмой на развилке средней мозговой артерии, тонкостенной, налитой, и этот человек не знал, что его утро зависит от того, выйдет ли Мара из дома в восемь ноль пять.

— Вечером, — сказала она. — Покажу вечером. Обещаю.

Она коснулась виска — легко, двумя пальцами, жест такой привычный, что уже не был жестом. Тёплая точка под кожей отозвалась. *Пометка: шнурки. Лео. Вечером.* Порт принял, свернул, убрал куда-то, где всё, что она обещала, ждало своей очереди быть исполненным. Она не помнила, когда в последний раз держала обещание сама, без этой тёплой точки. Не помнила и первого слова Лео. Оно лежало где-то там, в облаке, датированное, снабжённое временем и местом, доступное по касанию, — но сама она его не держала. Как не держала первого шага, первой ночи с температурой, первого раза, когда он назвал её мамой. Всё это случилось при ней и мимо неё; помнил лейс, а она была рядом — занятая, спешащая, уверенная, что вспомнит потом, коснувшись виска. Мать, для которой помнить давно значило не помнить самой. Мать, знавшая сына по датам в облаке, как знают историю болезни чужого человека.

— Ты всегда так говоришь, — сказал Лео. Не зло. Констатация. Он вернулся к шнуркам.

— Марина заберёт тебя из сада. — Она открыла дверь. С лестничной клетки тянуло холодом и чужим кофе. — Я приду, и мы...

Висок мигнул.

Не тепло — на долю секунды холод, будто под кожу сунули каплю талой воды. Изображение прихожей дёрнулось, как плёнка, поймавшая склейку. Один пропущенный кадр. Потом всё встало на место: дверь, холод, кофе, Лео на полу.

Она замерла с рукой на ручке.

— Ма?

— Ничего. — Она проверила часы. Восемь ноль четыре. — Всё хорошо. Вечером.

Дверь закрылась за ней сама, мягко, на доводчике.

На площадке между этажами стоял старик из квартиры напротив. Как его. Она знала, что знает, — касаться виска ради соседа было бы смешно, но имя не пришло само, и это её слегка

царапнуло. Он держал бумажный пакет с чем-то тяжёлым, наверное с книгами, и смотрел в окно, за которым не было ничего, кроме двора и голых лип.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе. — Она прошла мимо, уже считая ступени, уже в машине, уже в операционной.

— Опять спешите, — сказал он ей в спину. Не в упрёк. Так говорят о погоде.

Она не ответила. Старик, у которого всё время мира и некуда его деть; она — наоборот. Между ними была вся эпоха, и она сбежала вниз по лестнице, не оглянувшись.

Синяя простыня отгораживала мир до размеров одного окна во вскрытом черепе.

Мара работала. Точнее — работали её руки, а она смотрела, как они работают, немного со стороны, как смотрят на что-то одновременно своё и не своё. Микроскоп давал десятикратное. Аневризма сидела на развилке, как капля смолы, тонкостенная, готовая; одно неверное касание — и полость мозга затопит. Клипса ждала в держателе. Между клипсой и катастрофой было расстояние в полтора миллиметра и её рука.

Рука не дрожала. Рука никогда не дрожала. Двенадцать лет назад, интерном, она держала иглодержатель так, что швы выходили косыми, и старший ординатор говорил ей: руки — это не про талант, это про часы. Он был прав и неправ. Часы дали ей базу. Всё остальное дал Nexus Cortex.

Она чувствовала его как ток — не в голове, в запястьях. Рукопожатие шло непрерывно: имплант читал микротремор, предсказывал дрейф, гасил его прежде, чем дрейф становился движением. Тысячу раз в секунду он вносил поправку, которую человеческая нервная система внести не успевала. Её рука была её рукой плюс что-то ещё, и это что-то делало полтора миллиметра надёжными. Так теперь оперировали все. Так теперь всё и делали: пилот сажал борт, переводчик держал две грамматики разом, скрипач брал пассаж, которого не отрепетировал, — мост вёл, человек соглашался. Никто уже не помнил, где кончается умение и начинается рукопожатие. Незачем было помнить.

Мир перестроился под мост незаметно, за восемь лет, как перестраивается тело под костыль: сначала удобство, потом привычка, потом уже не встать без него. Школы перестали учить наизусть — зачем, если ответ под пальцами. Хирурги младше Мары никогда не резали без моста и не знали, что руки бывают одни, сами по себе. Целое поколение выросло, вынеся своё умение и свою память на сервер и оставив себе одну лёгкость — руки, ведомые чем-то умнее рук; язык, который знал за тебя грамматику; память, которая помнила за тебя лица. Мара тоже вынесла. Мара тоже радовалась лёгкости, ранней, чистой, точной серии, тому, что её рука шла как по рельсам. Ей и в голову не приходило, что рельсы можно разобрать.

— Клипсу, — сказала она.

Клипса легла в пальцы. Она подвела её к шейке аневризмы — медленно, по дуге, которую вела не она, а согласие между ней и мостом.

— Красиво, — сказала Ферро.

Ферро стояла напротив, ассистировала, отсасывала поле. Лупы сдвинуты на лоб, глаза над маской усталые и внимательные. Она смотрела на руку Мары так, как смотрят на чужой хороший инструмент.

— Не отвлекай.

— Я люблюсь. У тебя рука — как по рельсам. — Ферро качнула головой. — У меня так не выходит. Синхрон, наверное, тоньше настроен.

Клипса села. Бранши сомкнулись на шейке, аневризма опала, побледнела, стала пустым мешком без притока. Кровоток в артерии — чистый.

Мара выдохнула — коротко, одним тактом. Это был весь праздник, который она себе позволяла.

— Готово, — сказала она. — Закрываемся.

Она потянулась за иглодержателем, зашить твёрдую мозговую оболочку, — и мост пропал.

Не мигнул. Пропал. На полсекунды рука осталась одна, без поправки, голая, и Мара увидела то, чего не видела двенадцать лет: собственный микротремор, ничем не гашенный, мелкую человеческую дрожь, с которой она когда-то начинала и о которой давно забыла. Игла качнулась над оболочкой. Полмиллиметра в сторону.

Потом мост вернулся — тёплой точкой, током в запястье, — и рука снова стала твёрдой.

Полсекунды. Никто не заметил. Оболочка цела, игла не коснулась ничего, чего не должна была коснуться.

— Мара? — Ферро смотрела на неё, не на поле.

— Всё нормально. — Она наложила первый шов. Рука вела ровно. — Задумалась.

— Ты не задумываешься за столом. За столом ты машина.

— Спасибо, — сухо сказала Мара, и это тоже было почти шуткой.

Но пока она шила — ровно, точно, ведомая мостом, который снова был на месте, — что-то в ней отмечало полсекунды пустоты и не отпускало. Дважды за утро. Тепло становилось холодом, поправка запаздывала. Она спит это на усталость. Она спит это на что угодно. Человек так устроен: пока стены стоят, трещину в стене называют игрой света.

В ординаторской работал экран, которого обычно никто не смотрел.

Мара стянула перчатки, бросила в контейнер, подошла к раковине. Вода шла долго, горячая; она держала руки под струёй дольше нужного, разглядывая их — десять пальцев, ничего особенного, инструмент, который сегодня дважды остался без наладчика.

На экране говорила женщина в студии, и внизу, под ней, ползла строка. Мара прочла её, не вникая, потом вникла.

NEXUS CORTEX ОБЪЯВЛЕНА БАНКРОТОМ. НАЧАТА ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ.

— Сделай громче, — сказал кто-то.

Голос из динамика вошёл в середину фразы: «...совет директоров подтвердил, что компания не смогла обслуживать обязательства. Конкурсное производство начнётся немедленно. Что это значит для двухсот миллионов пользователей нейролейса — пока...»

— Двести миллионов, — сказала Ферро. Она стояла в дверях, ещё в костюме, с лупами на лбу. — У меня Cortex. У тебя Cortex. У половины больницы Cortex.

— Банкротство — это не отключение, — сказала Мара. Голос вышел ровным, медицинским, тем самым, которым сообщают родственникам про операционный риск. — Компанию купят. Актив на двести миллионов пользователей не бросают. Найдётся покупатель, за неделю всё уляжется.

— Строка говорит «ликвидация», а не «продажа».

— Строка говорит то, что продаётся. — Мара закрыла воду. — Паника — тоже товар.

Она в это верила. В тот момент — верила по-настоящему, и это было проще, чем не верить.

На экране сменилась заставка, пошёл сюжет: очередь у офиса компании, люди с телефонами, кто-то кричит в камеру. Ведущая вернулась с новой строкой.

КРИПТОКЛЮЧИ ДОСТУПА ИСТЕКАЮТ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ.

— Тридцать дней, — сказал ординатор у экрана, ни к кому. — До чего тридцать дней?

Никто не ответил. Никто ещё не знал, что это за срок и почему именно тридцать. Слово «ключи» ничего им не говорило; они думали о подписке, о том, что придётся, наверное, платить больше, переходить на другой сервис, терпеть неделю неудобств. В ординаторской кто-то уже шутил — нервно, но шутил, — что месяц без Cortex это как месяц без кофе, переживём.

Двое спорили, вернут ли деньги за годовую подписку. Молодой ординатор листал в телефоне другие нейросервисы, прицениваясь, куда перейти.

Так это и начиналось везде — не с ужаса, а с раздражения. Двести миллионов человек услышали, что их проводник уходит, и подумали о неудобстве. Никто из них не помнил, каково это — искать книгу самому в собственной библиотеке, потому что никто уже много лет не искал. Отрицание не требовало усилий; оно было просто продолжением привычки не думать о том, что помнит за тебя машина. Мара стояла у раковины, вытирала руки и думала так же, как все, ещё сутки думала так же: перетерпим, купят, обойдётся.

Мара уже не слушала. Смена кончилась, следующая операция — не её, дома Лео, Марина сдаёт его в семью. Она подняла руку к виску — проверить, что ещё на сегодня, что она обещала, куда должна, — привычное касание, тысячу раз на дню, доступ к самой себе.

Тёплая точка отозвалась. Список развернулся. И в списке, третьей строкой, мигала пометка, поставленная утром, восемь ноль три: *шнурки. Лео. Вечером.*

Она смотрела на неё и не понимала, о чём она.

Шнурки. Лео — это Лео, это сын, это ясно. Но «шнурки, вечером» — что она должна с этим сделать? Обещала что? Показать — что? Слово было, а за словом ничего не открывалось, будто дверь на месте, а комнаты за ней нет.

Полсекунды. Меньше. Потом вернулось — прихожая, петля, «покажу вечером, обещаю», лицо Лео снизу вверх. Всё встало на место, как встало утром изображение прихожей, как встал за столом мост.

Но полсекунды она держала в руке собственное обещание и не знала, что это.

Она опустила руку. В зеркале над раковиной — своё лицо, бледнее обычного, и на виске, под кожей, крохотный рубец порта, которого она не замечала годами.

— Ферро, — сказала она, не оборачиваясь. — Ты сказала, синхрон тоньше настроен. У кого тоньше — у тебя или у меня?

— У тебя, конечно. У тебя ранняя серия, они их потом заглубили. А что?

— Ничего, — сказала Мара. — Игра света.

Часть вторая. Момент тишины

Дома пахло разогретой едой, которую никто не ел.

Лео уснул на диване, не дождавшись её. Марина уложила бы его в кровать, но Мара отпустила Марину и села рядом с сыном, и не заметила, как он сполз ей на колено и заснул под бормотание экрана. Она не выключала экран третий час. Спикеров сменилось четверо; она искала того, кто скажет ей то, что она уже знала руками и не хотела знать головой.

— Давайте проще, — говорила ведущая. — Люди боятся, что потеряют память. Это так?

— Нет. — Учёный был немолод, говорил медленно, как человек, привыкший, что его не понимают с первого раза. — И в этом всё коварство. Память никуда не денется. Nexus Cortex никогда не хранил ваши воспоминания. Он хранил доступ к ним.

— В чём разница?

— Представьте библиотеку. Все книги на полках, целые. Но за годы вы разучились ходить между стеллажами — вас водил проводник. Каждый раз, когда нужна книга, вы касаетесь виска, и проводник приносит её. Быстро, точно. Вы и забыли, что когда-то искали сами. — Он сложил руки. — Теперь проводник уходит. Книги на месте. Все до одной. А тропы между полками заросли. Вы стоите посреди собственной библиотеки и не можете найти ни одной книги.

Аномическая афазия, — подумала Мара. Он не назвал, а она назвала. Она видела это у инсультников: зона цела, содержание цело, а мост от смысла к слову перебит. Человек знает, что это — вилка. Держит её, ест ею. Не может сказать «вилка». Слово стоит за стеклом.

Только у инсультника — одна перебитая тропа. А здесь перебьёт все сразу. У двухсот миллионов. И она знала — потому что видела в клинике порядок, в котором гаснет речь, — что первыми уходят имена собственные. Не глаголы, не предметы. Имена. То, чем зовут, а не то, что описывают. Мир проснётся и не сможет назвать друг друга.

Она сидела на диване, с сыном на колене, и телом проходила то, чего диктор не сказал, а она, врач, договаривала за него. Сначала уйдут имена. Потом редкие слова. Потом обычные, потом навыки — всё, что произвольно, что достаёшь усилием. Дольше продержится то, что не достают, а узнают: лицо, тепло, любовь. Порядок был известен, как известна последовательность отказа органов, и в этом порядке была страшная логика: человек будет терять себя слоями, сверху вниз, от того, что назвал, к тому, что чувствует, и последним, что останется у каждого, будет не имя и не слово, а немой, безымянный, никому уже не называемый другой рядом.

— Почему не найдут покупателя? — спросила ведущая, и Мара подалась вперёд: это был её вопрос, её вчерашняя вера. — Актив огромный. Двести миллионов клиентов.

— Никто не купит ответственность за двести миллионов мозгов. — Голос был новый, третий в студии, юрист. — Купить компанию — значит принять на себя всё, что случится с этими людьми при отключении. Ни одно государство, ни один консорциум не подпишется под этим. Это не вопрос денег. Денег хватило бы. Это вопрос того, кто согласится отвечать, когда двести миллионов человек забудут имена своих детей. Никто не согласится. Поэтому — ликвидация.

Ведущая молчала дольше, чем позволял эфир.

Потом дали Хартмана.

Его Мара знала в лицо, как все. Эмиль Хартман, создатель, тот, кто десять лет назад вышел на сцену и сказал: забвение — не судьба, забвение — бег, и мы его исправим. Человек, похоронивший мать и решивший, что больше никто не забудет. Сейчас он стоял не на сцене — в кабинете, за спиной стекло и город, — и говорил ровно, успокаивающе, глядя в камеру, как смотрят в глаза.

— Я знаю, что вы напуганы, — сказал он. — Я тоже пользователь. Мой лейс истекает вместе с вашими. Но я не для того строил Nexus Cortex, чтобы бросить вас в темноте. Мы раз-

ворачиваем «Мост» — наследственный бэкап. Мы снимем ваше состояние доступа и сохраним его. Вне компании. Навсегда. Вы не потеряете себя. Мы успеем.

— Мы успеем, — повторила Мара вслух, тихо, чтобы не разбудить Лео.

Она хотела верить. В ту ночь хотеть было легко. Человек на экране обещал, а на её колене спал сын, чьё имя она сегодня днём на полсекунды не смогла достать, и между этими двумя фактами она выбрала экран.

Она коснулась виска — поставить пометку, узнать про «Мост», записаться, если можно записаться. Список развернулся. Третьей строкой всё ещё мигало: *инсурки. Лео. Вечером*. Она так и не показала ему. Он уснул, не дождавшись.

— Завтра, — прошептала она. — Покажу завтра.

На следующий день она не поехала домой после смены. Она спустилась в архив нейротех-службы, к терминалу, к которому имела доступ как оперирующий хирург, и стала читать то, что до вчерашнего дня её не касалось.

Ранняя серия. Ферро сказала — их потом загубили. Мара хотела знать, что это значит.

Документ назывался скучно: «Оптимизация кортикальной полосы, серия А. Внутреннее». Его выложил кто-то из инженеров в первые же часы после объявления — из мести, из совести, из паники, не важно. К вечеру его читал весь профессиональный интернет. Мара читала его как историю болезни. Своей.

Серия А — её серия — работала агрессивнее. Чтобы рукопожатие шло чище и быстрее, лейс подавлял дублирующие биологические пути извлечения — те самые запасные тропы, которыми мозг ходит к памяти в обход. Их называли «шумом». Шум убирали. Пользователь серии А получал доступ тоньше, точнее, быстрее — и это продавали как преимущество, и она, Мара, когда-то радовалась, что у неё ранняя, чистая, точная.

Позже инженеры испугались. В серии В «шум» вернули — оставили запасные тропы жить, пусть грязно, пусть медленно. Загубили. На случай, писали они осторожно, «нештатного прекращения синхронизации».

Нештатное прекращение синхронизации. Она сидела перед экраном и переводила это на язык, который знала. У серии В при отключении зарастут главные тропы, но останутся запасные — заросшие, кривые, но проходимые. Мир серии В будет спотыкаться двадцать пять дней и кое-как научится ходить в обход.

У серии А запасных троп нет. Их вырезали годами. При отключении — голая стена.

Она открыла свою карту. Дата имплантации. Восемь лет. Восемь лет серия А вырезала в ней «шум» — тропы, которыми она могла бы сейчас пойти в обход. Восемь лет. Долше, чем у большинства: она поставила лейс одной из первых, потому что была хирургом, потому что руки, потому что карьера.

Полсекунды в прихожей. Полсекунды за столом. Полсекунды над собственной пометкой. Это была не усталость. Это серия А уже осыпалась — раньше срока, вперёд всех, потому что дефект, потому что рано, потому что глубоко. Её мост рушился не через тридцать дней. Он рушился сейчас.

Она посчитала. Она умела считать — скорость эрозии по кривой из документа, помноженная на восемь лет без запасных троп, помноженная на то, что процесс уже пошёл. Цифра вышла грязная, приблизительная, и всё равно ясная.

Не тридцать. Двенадцать. Может, четырнадцать. Двенадцать дней, за которые уйдёт то, чем она достаёт слова, лица, имена. Потом — стена.

Она сидела очень прямо, как учили за операционным столом, и смотрела на десять своих пальцев на клавиатуре, и думала совершенно спокойно, тем самым врачебным голосом, кото-

рым внутри себя сообщала диагноз: *у меня двенадцать дней, чтобы решить, что я оставлю. Потом я перестану быть тем, кто решает.*

Экран ушёл в спящий режим. В чёрном стекле — её лицо. Она подняла руку и коснулась виска, по привычке, за утешением, за списком, за собой.

Тёплая точка отозвалась слабее, чем утром.

Утром она смотрела, как он ест.

Лео стоял коленями на стуле — не сидел, стоял, так ему было ближе к столу, — и ел хлопья, роняя молоко, и рассказывал про сон, в котором была собака размером с автобус, и собака была добрая. Свет из окна лежал на его макушке. Мару накрыло — без предупреждения, целиком, как накрывает под наркозом, только наоборот, в полное сознание: она любила его так, что стало больно дышать. Каждый волос на этой макушке. Молоко на подбородке. Собаку размером с автобус.

Она хотела позвать его по имени. Просто позвать — чтобы он поднял лицо, чтобы поймать этот взгляд, потому что скоро она не сможет.

Она открыла рот.

Имени не было.

Она знала о нём всё. Знала запах его макушки, знала, что он левша, знала, как он плачет — сначала беззвучно, потом в голос. Знала, что он боится пылесоса и не боится темноты. Она знала — вот он, её сын, её, — и на месте его имени стояло стекло. Она видела форму слова и не могла его взять.

— Лео, — сказал Лео, глядя на неё. — Ты чего?

Лео. Он сам себя назвал, и стекло отошло, и имя вернулось — Лео, Лео, конечно, Лео, — и она чуть не задохнулась от того, как просто оно вернулось и как страшно, что его пришлось вернуть.

— Ничего, — сказала она. — Ешь.

После завтрака она взяла картон, отрезала прямоугольник, написала маркером четыре буквы и продела нитку.

— Это что? — спросил Лео.

— Игра, — сказала она. — Будешь носить, как медаль.

Она надела ему на шею бирку. Он посмотрел на неё сверху, перевёрнутую, прочёл по складам:

— Л-Е-О. Лео. Это я.

— Это ты, — сказала она и застегнула нитку, и отвернулась, чтобы он не увидел её лица.

На пятый день она встала к столу, хотя не должна была.

Ей сказали не оперировать. После того как половина хирургов доложила о «лагах», администрация закрыла плановые операции для всех носителей серии А — тихо, без объяснений, просто сняли из графика. Мара пришла всё равно. У мальчика на столе — семь лет, чуть старше Лео — была опухоль задней черепной ямки, и очередь на неё стояла из хирургов, которых с каждым днём становилось меньше, а тех, кто мог резать без моста, не было вовсе. Мара умела резать без моста двенадцать лет назад. Она сказала себе, что вспомнит.

— Ты не должна быть здесь, — сказала Ферро, но встала напротив, ассистировать. У Ферро тоже был Cortex, серия В, загруженная. Обе они делали вид, что это обычная операция.

Мара вошла в опухоль. Микроскоп, десятикратное, серое вещество и в нём — чужое, плотное, оплетённое сосудами. Мост вёл её руку по краю, тысячу поправок в секунду, знако-

мый ток в запястье. Она работала. На минуту ей стало почти спокойно: вот это она умеет, вот здесь, за стеклом простыни, мир ещё был цел и подчинялся.

Потом мир пропустил кадр.

Не глитч. Не полсекунды. Ток в запястье оборвался — и не вернулся.

Рука Мары остановилась над вскрытым мозгом мальчика, в полтора миллиметрах от ствола, и осталась одна. Без поправки. Голая человеческая рука, восемь лет не знавшая, каково это — быть только рукой. Микротремор проступил сразу, мелкий, честный, тот самый, с которым она начинала. Полтора миллиметра до ствола. До дыхания, до сердца, до всего, что делает мальчика мальчиком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.